

# Алексей Притуляк

# ВАРНАК

Алексей Притуляк

**Варнак**

«Автор»

2013

## **Притуляк А.**

Варнак / А. Притуляк — «Автор», 2013

Волна красной смерти прокатилась по стране и миру. Все, кто мог умереть - умерли. Кому написано было на роду выжить - живы. Всё?.. Нет. Смертельная болезнь - это не самое страшное. Куда страшнее сам человек будущего. Пастырь, вернувшийся в умирающий родной город, в надежде найти живыми жену и сына, и не думал, что ему придётся воевать. Да ещё воевать с таким противником. Содержит нецензурную брань.

© Притуляк А., 2013

© Автор, 2013

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

25

*Пионер – всем ребятам пример!*

## 1. Костёр

Смуглый однорукий цыган ни слова не произнёс, пока не развёл костёр и не вскипятил воду. Безостановочно бормоча что-то себе под нос по-цыгански, набросал в чёрный от копоти котелок каких-то трав, помешал вынутой из кармана алюминиевой, гнутой-перегнутой ложкой. А на вертеле, потрескивая, исходили жиром два голубя, и запах дичи ложился на тёплый ветер, убегающий за холмы, уносящий поблёскивающую на солнце паутинку. Бабье лето дремотно поглядывало за тёмно синеющий горизонт.

– Угошайса, – наконец изрёк ром, тряхнув подбородком, заросшим седой курчавой бородой, указывая на голубей, которых снял с вертела на большой лист лопуха. – Соли *нанэ*<sup>1</sup>, так что.

– Угу, – благодарно кивнул Пастырь, деликатно берясь за тушку поменьше.

– Ай, *гаджо*<sup>2</sup>, что ты, что ты! – возмутился цыган. – Ты гост мой.

И подсунул ему птицу покрупнее, пожирнее. Пастырь снова кивнул, двумя руками вежливо принял незатейливую снедь, хрустнул птичьим крылышком, выворачивая, чувствуя, как рот стремительно наполняется голодной слюной.

Цыган, несмотря на благородный возраст, был подтянут, широкоплеч, жилист, без грузности и сутулости своих, наверное, пятидесяти с большим гаком. Пастырь, хоть и не был худосочен, но рядом с этим кочевником чувствовал себя пареньком, не взирая на свои сорок четыре, на мощные крюковатые руки, на покатые плечи борца, на грозную приземистость и взгляд хищника, неморгающе остекленевший под тяжёлыми надбровными дугами. Впрочем, взгляд был обманчив – это, скорее, привычка, следствие тренировки и влияние определённой среды, а в душе хищником человек этот не был. По крайней мере, любой, кто знал Пастыря долго и хорошо, рассмеялся бы, услышав так и просящееся на язык «прирождённый убийца». Какое там! Ну а тот, кто его не знал, когда сказали бы ему, где Пастырь провёл последние без малого три года жизни, хмыкнул бы: «А я что вам говорил! По роже-то сразу видать».

Достоинство не позволяло ему жадно наброситься на еду, он жевал нарочито неторопливо, лениво ворочая массивной квадратной челюстью. Если бы ещё желудок предательски не рокотал, радуясь проваливающейся в него скудной пище...

Вот теперь самое время поговорить. Совместное насыщение и довольство проголодавшихся желудков сближает, располагает к беседе, ясное дело же. Да и скрипа кишок за беседой будет не слышно.

– Давно ты тут? – спросил Пастырь, кивая за левое плечо, где покосился возле заросшей жухлым подорожником да полынью дороги оставленный когда-то кем-то строительный вагончик.

Цыган бросил на гостя хмурый взгляд, неопределённо покачал головой, обсасывая ножку.

– Один, что ли, живёшь? – не отставал Пастырь.

Кроме любопытства в вопросе присутствовала ещё и осторожность. Чёрт, ведь, его знает: может, вернутся сейчас с охоты дружки-*рома*<sup>3</sup> и решат, что должен Пастырь расплатиться со стариком за гостеприимство, по счёту. А уж каков будет счёт...

– Сколько рук у мне, столько и мне, – подтвердил цыган.

---

<sup>1</sup> *Нанэ* *цыг.* нет.

<sup>2</sup> *Гаджб* *цыг.* обращение к не-цыганам.

<sup>3</sup> *Ромá* *цыг.* цыгане.

– Как же ты управляешься?

Неопределённое пожатие плеч и короткий ответ:

– *Хавэ́с*. Ешь.

Пастырь замолчал, сосредоточился на голубе. А на чём там сосредоточишься: баловство одно, а не еда. Но и на том спасибо. Сам-то при двух руках, а гол как сокол.

Минут десять чавкали, поцвиркивали губами, обсасывая хилые голубиные косточки. Когда закончили, цыган разлил в алюминиевые кружки ароматный травник.

– Что в городе? – спросил Пастырь, кивнув за холмы, отхлебнув чай, терпко пахнущий ромашкой и смородиновым листом.

Цыган стрельнул быстрым взглядом в глаза, отозвался:

– Не хожу туда. А ты разве не местный?

– Был. Пока не сплыл.

– Моряк, значит?

– Ага, с печки бряк, – усмехнулся Пастырь. – Зэка́ я. С зоны подорвался, когда всё началось.

Цыган не удивился, не испугался. Или не понял, или уверен в себе, и всё ему до задней двери.

– Ну, варнак, значит, – качнул бородой безразлично.

– Живых-то много там? – поинтересовался Пастырь.

– Ест, – коротко ответил старик. – Лушше бы не был.

– Это что же так? – удивился Пастырь.

– *Дявэл* там. Не ходи туда, коли жив хочешь быт.

– Да? – задумчиво произнёс Пастырь, мелко прихлёбывая кипяток, поглядывая на хозяйина. – А мне как раз туда и надо край.

– Оружие имеешь? – прищурился цыган.

Пастырь молча отвернул борт ветровки, показал сточенный приклад обреза, вложенного в специально пришитую к куртке петлю. Цыган поморщился, сплюнул.

– *Тхуло*<sup>4</sup>. Пропадёшь. Автомат надо. И ватагу.

– Чем богаты, – пожал плечами Пастырь, запахнул куртку.

– Загибнешь, – констатировал старик. – Богом клянус.

Пастырь хмыкнул, посмотрел на притихшие холмы, на хмурующее стальным оттенком небо. Ветерок уже не ласкал игриво-шутливо, а напирал, становился деловитей, серьёзней – то взмётывал слабеющие огненные языки костра, то прижимал к траве. Солнце то и дело пряталось за набежавшие облака, норовило пробиться обратно, но облака кучились, закладывали небо и стелились ниже к земле, сближая небо и землю.

– Дошш будет, – пояснил цыган. – Скоро. Грѳза.

– Ты где руку оставил? – полюбопытствовал Пастырь, выливая в костѳр опивки с травяной гущей, поглядывая на культу под левым рукавом цыганова пиджака.

– Там и оставил, – неохотно отозвался ром, цедя питьѳ. – В городе. Добро, что сам ушѳл.

– Угу, – покивал гость. – Не страшно одному? Город-то рядом.

– Нет, – коротко ответил старик. – Чего боятса тому, у кого ништо нет.

– Жизнь есть.

– Нет жизни. Всѳ там осталос.

Пастырь не стал спрашивать. Цыган всё равно, кажется, не расположен к рассказам, а догадаться не сложно: вся его родня, видимо, осталась в городе. Сунулись, видать, туда табором, да там их всех и положили. Такие нынче времена... Хотя, нет, времена были раньше, а теперь – моменты. От вчера до сегодня момент, от жизни до смерти момент. За те месяцы, что

---

<sup>4</sup> Тхулѳ цыг. говно.

Пастырь добирался до Михайловска, нагяделся он на всякое. Смерть нынче гуляет повсюду, ходит, где хочет, чувствует себя вольно. Поветрие прошло, а смерть осталась. Казалось бы, чего ей ещё надо – разжирела за год, отъелась на миллионах человеческих жизней. Однако, нет – аппетит приходит во время еды, известно же. Ещё трупы, набросанные по земле заразой, не сгнили, не съелись червями и воронами, а на их место уже новые громоздятся. Вошла во вкус старая падалыщица.

– На вечер не ходи туда, – сказал цыган. – Здес останса. Утром пойдёшь.

Пастырь налил себе ещё горячего травника, в задумчивости покачал головой.

– Полгода я сюда добирался, – ответил он. – Добрался вот. Сердце горит. Я, вот, с тобой сижу, а сердце горит. У меня же дом там. Жена была и сын.

– Полдня не решат дело, – настаивал старик. – Не ходи, говорю. Загибнешь. И нет там ни жены твоей, ни сына.

– А ты почём знаешь, ром?

– Знаю. Никого там нет. Кто от жаркой не сгорел, того убили. Кто убивает не хотел, того убили. Кто вовремя не ушёл – убили. Всех убили. Никого не найдёшь ты там. Смерт, разве что, найдёшь.

– Ладно, – отмахнулся Пастырь. – Тебя как зовут-то?

– Михаем звали.

– Ну а я – Пастырь. В смысле, Пётр. Был... Пётр был, Пастырь был... Теперь – варнак. Вот же жизнь, туда её в заднюю дверь...

## 2. За жизнь

Для Пастыря (это в зоне, а в миру – Петра Сергеевича Шеина) началось всё в марте, когда свалился вдруг с вышки караульный. Хлопнулся кулем на почернелый ноздреватый снег, разметав брызги первых лужиц, и застыл в нелепой позе, обмочив напоследок штаны, завернув голову на сломанной шее чуть ли не к спине, словно прислушиваясь к чириканию разгулявшихся, почуявших весну воробьёв. Что сразу тогда бросилось в глаза – был он весь красный. Вся кожа, что на виду, была красной, даже алой, как после хорошего ожога. Тогда уже месяц как шли разговоры об эпидемии, зона сидела на карантине, и тот солдатик стал первой ласточкой, после которой даже на прогулки выводили маленькими партиями, и совсем никаких свиданий.

Мобильной связи в той глухомани не было, письма с воли стали приходить гораздо реже, и в те редкие разы, когда они всё же приходили, воняло от них хлоркой и чёрт знает какой ещё медицинской гадостью, а выцветшие буквы едва удавалось прочесть. И был в тех письмах только надрыв и ужас, так что тревога, сначала вялотекущая, за отсутствием ясных новостей очень быстро переросла в паранойю, хотя, опять же, как посмотреть, а то и позавидовать, пожалуй, можно было экам, которых спасала от неизвестной болезни изоляция. Впрочем, недолго спасала.

После того первого случая прошло не больше недели до того дня, когда красная смерть дорвалась и до эка, пробравшись в камеру Гриши Хохла и в два дня окрасив малиновым всех её обитателей. Ещё через пару недель от служивых, наверное, почти никого не оставалось, потому что на прогулки выводить перестали, кормили говном каким-то, и одно название только, что кормили – кое-как с голоду умереть не давали. Количество эков тоже заметно поуменилось.

Пошли тогда по камерам нехорошие базары, что, мол, принято решение эка уничтожать, потому что сил для их содержания уже не хватает, что вызван из области отряд спецназа для обеспечения пересортировки заключённых и отстрела тех, которым амнистия не грозит. Пастырь мог быть спокоен: за тяжкий вред здоровью, который он не причинил тому ублюдку,

оставалось ему сидеть четыре месяца и четырнадцать дней, однако общее волнение зацепило и его душу, заставив тревожиться и в тот день, когда поднялась буча, приложить к ней свою руку.

И не оказалось в зоне никакого спецназа. А тех немногих солдатиков, что ещё оставались в охране, зековский бунт завертел, захлестнул, пожевал и выплюнул, проглотив едва ли половину. И ещё вопрос, кому повезло больше – пережёванным ли, выплюнутым ли.

Потом был долгий путь по вымершей – где больше, где меньше – земле, напоминающий дорогу в ад или по миру, в который пришел Антихрист. Людей приходилось сторониться, и не потому, что беглый, а потому что кругом была смерть, каждый встречный был зеркалом, в котором отразился её оскал, каждый из них мог стать твоей погубелью. Пастырь заматывал лицо рубахой, с рук не снимал медицинских перчаток, не подпускал к себе никого – ни мужика, ни женщину, ни ребёнка; не подходил к умирающим, не обращал внимания на призывы о помощи, лишний раз не касался ничего, что могло бы нести на себе прикосновения других людей.

Первое время было проще: часто попадались бесхозные брошенные машины, кое-где еще ходили электрички и автобусы, сохраняя видимость привычной жизни и порядка. За всю свою жизнь он никогда не ездил столько на велосипеде, сколько за эти месяцы.

Потом всё как-то разом рухнуло. После полутора лет с момента первых известий о новой смертельной инфекции страна сломалась, сдалась перед болезнью, как сдаётся, не выдержав, организм, и забилась в агонии. Паника, бандитизм, пожары, мародёры и дезертиры, лихорадочные слухи о начинающейся войне с Китаем и Америкой, в которых эпидемия уже, якобы, усмирена, ожидание ядерного удара, и довольная приплясывающая смерть на каждом шагу. Через всё это он пробирался, сжав зубы, дыша через раз, вечно полуголодный, закрывая глаза на происходящее и отмахиваясь от леденящих кровь мыслей о том, что всё кончено, что прежняя жизнь ушла и никогда не вернется. И не утешали доводы, что бывали уже в мире эпидемии, косившие целые народы, и – ничего, выжил род людской. Уж больно похоже было, что на этот раз нет у рода людского никаких шансов.

Но он шёл и шёл вперёд.

Его целью было добраться до Михайловска, на другой конец обожаемой родины, где оставались Ленка и Вадька.

Добрался.

### 3. За смерть

Цыган слушал молча, ни разу не перебил, только смотрел в угасающий огонь костра, покуривал трубку, набитую зловонным самосадом, сплёвывал да кашлял.

– Зря всё, – изрёк он минут через пять тишины, в которой только угли потрескивали, да ветер шумел всё явственней, призывая грозу. – Никого в городе не осталось. Немногие успели уехать, никто пошти не успел. Видел бы ты, что тут творилось... Люди будто с ума сошли напоследок, богом клянусь.

– Как и везде, – пожал плечами Пастырь.

– Про везде не знаю. Мы из Дёсново сюда пришли. Думали, город малый, тихий, отсидимся поблиз, пока всё не успокоится. А тут эти... Рогатых<sup>5</sup> перебили, свои порядки давай ставит. Убивали всех подряд. Покраснел от жары – умер, ноги заплетаются усталости – умер, не то слово сказал – умер, жену не отдаёшь – умер... Умер, умер, умер...

– Кто – эти?

– Бандиты. Сброд. От них люди больше умерли, чем от жаркой. Они тут долго заправляли, а потом ушли. Сожрали всё, что было, разграбили, что было – и ушли.

---

<sup>5</sup> Рогатые цыг. жарг. менты.

– Так значит, в городе их нет сейчас?

– Тех – нет. Другие ест. Ещё хуже. Они, наверно, всех добились, кто ешшо оставался. У меня всех забрали. Руку мою забрали. Они людей жрут.

– Чего?

– Да, гаджо, да, я тебе тошно говорю. Собак уже всех, поди, пожрали, кошек. Людми не гнушаются. Из людей если в городе кто и остался, то сидят по чердакам да подвалам и носа не кажут. А эти – они на вокзале обосновались. К себе не пускают никого; если появился поблиз, то сразу стреляют. В город ходят на охоту только. Раньше днём ходили, а шшас поняли, что те, кто прячутся в погребах, на ночь выходят, так стали по ночам ходит. Городские, кто посмелей, постреливают в них иногда, но только люди, сам знаешь, договариватся не умеют. Каждый про себя. А эта шалда – все как один.

– Откуда ж они взялись?

– А кто их знает, гаджо. Целой ватагой явились откуда-то. Их пионерами зовут.

– Как-как? Пионерами?.. Почему?

– Так у них самому старшему семнадцать, что ли. Они, говорят, из пионерско лагеря, из Сосновки пришли. Так что тебе в город не надо. А если пойдешь, то с Малой Северной нужно зайти, в обход вокзала.

– Пионеры, говоришь... – Пастырь задумчиво поворошил носком ботинка угли. – Пионеры... Пионер – всем ребятам пример... И в них постреливают, говоришь? Они ж – дети.

– Какие дети! *Дявэл!* Людей жарят-варят. Им убит тебя, что клопа раздавит. Они – смерт. И ладно бы просто убивали и жрали. Они же сначала издеватся любят.

– А ты не врешь, ром? – недоверчиво покосился на цыгана Пастырь. – Может, ты нахватался слухов по погребам, а теперь мне пересказываешь?

– Я мог бы тебе убит шшас, – глухо прохрипел цыган, едва, наверно, сдерживая ярость. – Но костёр ешшо не погас. *Дав тукэ дума*<sup>6</sup>... Они Лялю мою... у мне на глазах...

– Да?.. Ну, извиняй.

Повисшее над угасающим костром молчание было тяжёлым, под стать наползающим из-за холмов свинцовым тучам. Ветер теперь налетал порывами, норовил засыпать горячим пеплом костра глаза, посвистывал в тополях, по-октябрьски жёлто и уныло нависающих над дорогой. Где-то на севере, за холмами, за рощей, за городом, на окраинах, погромыхивало; скользили по небу зигзагами оголённых нервов дальние молнии.

– Уходит надо, – произнёс цыган, впервые за последний час посмотрев Пастыря в глаза. – Спат до утра. Не сможешь ты шшас в город идти, варнак.

– Угу, – неохотно отозвался тот. – Ты отомстить пионерам не пробовал?

Лицо Михая вспыхнуло ярче угольев. Видать, Пастырь зацепил больной нерв, который терзал внешне спокойного до отчуждённости цыгана. Конечно, как же: месть сладка, кровь цыганская – не водица... Да только где ему, одинокому и одорукому. А с другой стороны... дети же!

– Извиняй ещё раз, – Пастырь отвёл глаза от лица цыгана. – Не подумал.

Гнусная ситуация. Если правду говорит цыган, что в банде одни малолетки, то как же... как же с ними воевать-то? А с другой стороны, если они звери... Времена нынче такие, что не на возраст, наверно, нужно смотреть, а по делам судить. Судить, приговаривать и приводить в исполнение. И списывать всё на времена, выскабливая из души грязь. Нет, реально гнусная ситуёвина...

– Шшас польёт, – сказал цыган, успокаиваясь, но голос его ещё подрагивал от ярости и обиды. – Хайда в дом.

---

<sup>6</sup> Дав тукэ дума *цыг.* говорю тебе.

Дом... Зелёный, обшарпанный, битый временем строительный вагончик, невесть как попавший на старую дорогу, перекосившийся от того, что пара колёс по одной стороне лишена покрышек (пошли, наверное, в костёр в какой-нибудь из холодных февральских дней). Внутри больничная кушетка вместо кровати, столик, спёртый, наверное, в какой-нибудь заброшенной кафешке, два табурета, керосиновая лампа, гитара на стене, поленица и запах... Запах летней кухни на даче – тот самый, что не давал покоя на зоне, возникая, вдруг, памятью в носу, посреди барачной кислой вони.

За мутным маленьким окошком, в которое билась тупо и безнадёжно одинокая толстая муха, быстро потемнело. Ветер трепал тополя, дёргал их за космы, как строгий отец провинившуюся шпану, поднимал пыльные буруны, взмётывал выше деревьев отсохшую траву да притащенные откуда-то клок грязной бумаги и полиэтиленовый мешок. Гром вдруг ударил так, что оконце задрезжалось; скользнула сверху, разбегаюсь по небу, извивающаяся молния, забарабанили по ржавому железу на крыше первые крупные капли. Тревожный, влажный и прелый запах грозы проник в вагончик, загнал муху куда-то в угол, где она и притихла.

– *Лачо бришин*<sup>7</sup>, – пробормотал цыган, присаживаясь на табурет, поглядывая в окно. – Хорошие времена возвращаются, гаджо. Понимаешь? Земля становится чище. Хорошие добрые дожди приходят. Смывают грязь от людей. Вон как пахнет... как давно-давно, в детстве.

– Нашёл чему радоваться, – проворчал Пастырь, опускаясь на другой табурет, тоже посматривая в окно, за которым уже всю разгулялась гроза.

Ливанул дождь, встал стеной, отрезав вагончик от остального мира. Казалось и правда: умерло всё кругом, остались они в мире вдвоём. Нет, втроём: их двое да дождь. Шумело так, что голосов было почти не слышно. С небольшими промежутками ухал и трещал гром, раскачиваясь по небу, как просыпанный господом тяжеленный горох.

– Я радуюсь, да, – тихо произнёс Михай после нескольких минут молчания. – Что мне ещё остаётся.

Наверное, да – оmyвается потихоньку земля от грязи. Страна вымерла, заводы стоят, упираясь в небо пустыми остывшими трубами, стоят машины – брошенные, ржавеющие тут и там. Но долго ещё мыться ей придётся, земле, охорашиваться, соскабливать с себя грязь, чистить пёрышки. Уж сколько успело человечество нагадить – нескоро стряхнёт она с себя всё это дерьмо.

Завоняло самосадам – цыган раскурил свою гнутую деревянную трубку, пытящую и сипящую. Синий дым окутал его кудрявую голову, скрывая седину, стлался над серым полусгнившим полом, над столом, прижимался к оконному стеклу.

Пастырь не выдержал:

– Дай затянуться, а?

Он не курил уже месяца три-четыре. И не хотелось как-то. Но в густой вони самосада было что-то такое дремучее, древнее, забытое, зовущее из далёкого детства... Пастырь, сглатывая обильно набежавшую слюну, потянулся к трубке, но цыган отклонился, выставил навстречу локоть.

– Трубку, саблю и жену... – проворчал он, стрельнув в гостя быстрым взглядом. – Знаешь? Вон там, на полке, газеты ест. Отсыплю табаку на цибарку.

#### 4. Аист на крыше

Он проснулся засветло. Сразу поднял к глазам запястье, посмотрел на часы: половина седьмого. Привычка просыпаться в это время вырабатывалась годами и засела так глубоко, что на часы уже можно и не смотреть.

---

<sup>7</sup> Лачо бришин *цыг.* добрый дождь.

А Михай встал ещё раньше – в открытую дверь вместе с прохладным мятным запахом мокрой земли (дождь шумел всю ночь и затих уже где-то к рассвету) втягивало смолистый дымок от костра.

Пастырь вскочил с больничного лежака, выгнулся в потяге, подышал, вентилируя лёгкие. Выскочив из вагончика прочавкал ботинками по грязи до ближайшей лужи; присев, ополоснул холодной и пахучей водой лицо. Михай сидел у костра, не глядя на гостя, курил неизменную трубку. В котелке, подвешенном над огнём, бурлило какое-то варево.

– Утро доброе, – улыбнулся Пастырь, утирая краем ветровки лицо.

– Может и доброе, – кивнул цыган, выпуская клуб дыма. – Не знаю ешшо. Шшас будем ест.

Пока, сидя на промокших за ночь ящиках, ели варево (крапива, наверное, корешки какие-то, перловка, картошка), Пастырь исподтишка разглядывал цыгана, а тот молча и неторопливо хлебал с ничего не выражающим лицом, изредка утирал губы тылом кисти, сосредоточенно пережевывал чуть недоваренную крупу, уставясь в костёр.

По всему видать, неплохой мужик, хоть и цыган. Плохо ему, тоскливо. А кому сейчас хорошо.

– Не боишься, что придут из города? – спросил Пастырь, выпив остатки похлёбки. – Недалеко ведь.

– Не боюсь, – равнодушно ответил цыган.

Ну да, вчера же спрашивал уже...

– Они за город не ходят, – пояснил Михай. – Чего им тут делат. Один раз только видел их на картофельных полях, в посёлке.

– Ну и?.. Шпана?

– Шпана как ест.

– Хм... Дела...

– Они грамотные, – кивнул цыган. – Часовых ставят. Ходят строем. Оружие у них.

Всё это очень походило на правду. Да и зачем бы старому Михаю врать. Но Пастырь никак не мог побороть в себе чувство недоверия. Чтобы какая-то шпана держала в страхе целый город!.. Хоть и мёртвый, но всё же – город.

– Много их? – спросил он.

– Не знаю, – цыган протянул ему кружку с травником. – Я когда их видел на поле, было одиннадцат. Но их больше. Думаю, много больше. Раз видел их на вокзале. Пьяные. Или укуренные. Двух малых стреляли.

– Как это?

– Да как... Обышно. Поставили их к стене. Старшой говорил что-то – видат, приговор. Потом расстреляли. У них там дисциплина. Построже, чем в армии, видат... Потом съели, наверно.

Пастырь сплюнул в огонь мятный листочек, налипший на язык.

То, что рассказывал его гостеприимный хозяин, не укладывалось в голове. А цыган продолжал:

– У них и форма своя. На головах повязки у всех. Татуировки на руках одинаковые. Даже девчонкам.

Дети, оставшиеся без присмотра взрослых, играют в «Зарницу». Заигрались, похоже, слегка. Чересчур заигрались, однако, если правда всё, что цыган рассказывает. Ну, насчёт того, что они человечину едят – это, наверное, перебор таки. Хотя, чёрт его знает. Есть-то им надо что-то.

С востока попыталось пробиться солнце, но иссиня-серая пелена, в которую зябко ещё куталось хмурое небо, не позволила, так что жёлтый луч скользнул по траве неясным бликом и растворился в последождевой влажной туманности.

Допили чай в молчании. Цыган не торопясь забил трубку, раскурил, пыхая зловонными синими клубами. Пастырю вспомнился вчерашний гадкий вкус самокрутки. Он сплюнул: видать, откурил ты своё, брателло.

Вернувшись в вагончик, взял из-под подушки обрез, нацепил ремень, на котором болтались штык-нож да поношенная сумочка, набитая патронами. Забросил на плечо чахлый рюкзак: пара шмоток, потрёпанная библия, порох, пыжи, дробь, резиновые перчатки, два респиратора, бинокль, фонарик... Вышел. Михай так и сидел у костра, дымил над новой кружкой чая.

- Уходишь? – спросил равнодушно, бросив быстрый взгляд.
- Пора, – кивнул Пастырь. – Спасибо тебе за гостеприимство, ром.
- Ништо, – отмахнулся тот. – Цыганский костёр всем светит. Жив будешь, приходи.
- Приду. Спасибо ещё раз.
- Шшасливый буд. *Бахтало дром тукэ*<sup>8</sup>. Осторожно там.

Пастырь постоял ещё минуту, собираясь с духом, потом кивнул и, не оглядываясь, двинулся к холмам по мокрой траве, разрывая собой вялые и тонкие клочья тумана. Оглянулся только когда поднялся на вершину холма.

Догорал костёр. Возле него скрючился на деревянном ящике одинокий силуэт, напоминавший нахохлившуюся птицу со странным изогнутым клювом – Михай не выпускал из зубов трубку.

Впереди, за недалёкой рощей, кое-как виднелся в застилающем поля тумане посёлок Благодравное. Это там, наверное, встретил Михай «пионеров». Ещё дальше, километрах в трёх от холма, на котором стоял Пастырь, различались пригороды. Где-то там, чуть правее, расположился вокзал.

Если заходить в город с Малой Северной, как советовал цыган, это нужно сделать крюк вокруг Благодравного, обходя город слева, где рассыпались в стороне от дороги избышки садово-огородного общества и где расположился на месте бывшей Михайловки частный сектор пригорода, славный некогда своими садами и бандюками, вышедшими из этого пьяного и шумного района. Городок небольшой, так что до центра, где был его дом, Пастырю пришлось бы накрутить всего-то пару-тройку километров лишних. Но крутить их не хотелось. Он и так полночи не спал, возбуждённый скорой... чем? Встречей?.. Ох, дай-то бог, чтобы так, но верится в это слабо. Ленка не осталась бы в этом городе, если жива. Всё сделала бы, чтобы увезти сына куда подальше, хоть на Кубань, к матери, хоть на север, к сестре. Понятно, что смысла в этом не было бы никакого, но ведь баба... одна, в панике, когда кругом смерть...

Он вздохнул, пошагал вниз, по главной дороге, не глядя на поворот к Благодравному.

Только теперь, медленно приближаясь к цели своего долгого пути, он со всей остротой почувствовал, сколь эфемерна его надежда найти своих. Прав цыган: нет их здесь. Что им делать в мертвом городе, если живы. Живы ли?.. Господи, господи! только бы живы! Коли живы, сыщутся всё равно, рано или поздно.

В низине туман сгущался, от рощи остро пахло прелой листвой, размеренно высвистывали птахи. Птицам-то хоть бы хны. Зверям тоже. Люди повымерли, а живность здравствует и размножается. Скоро снова наполнятся леса зверьём. Прав цыган: у земли образовалась небольшая передышка, пока человечество на последнем издыхании цепляется за жизнь. А если не выдержит и вымрет, как динозавры в своё время, так ей, земле, и вообще лафа будет. И даже если не вымрет, то всё равно: пока это люди смогут приняться за старое, пока это они снова заплодят свою усталую планету... Отдыхай, матушка, отдыхай – имеешь право.

Через полчаса показалось впереди и слева Благодравное. Даже отсюда, с центральной дороги, видно было, что огороды заросли бурьяном, дома брошены и с виду сразу отличаются от жилых: есть в них какая-то безысходная тоска и зябкая пустота, скорее ощутимая, чем зри-

<sup>8</sup> Бахтало дром тукэ *цыг.* доброй дороги тебе.

мая. Не слышать ни собачьего перебреха, ни петухов; не видать коров, которые всегда чинно, как великосветские дамы, возлежали или паслись в ближней пади, лениво пережевывая свою жвачку да гоняя хвостами надоедливых мух. Не слышно тракторов, не дымит труба кочегарки на окраине, возле низкорослых приплюснутых строений овощной базы, больше похожей сейчас на брошенное гнездо какой-то огромной птицы. Запустение... А ведь казалось бы, в селе-то шансов выжить больше, чем в городе, потому что нет городской скученности, зато есть огород, который не даст помереть с голоду.

Впереди виднелись немногочисленные дома пригорода. Дальше виден уже был старый центр с его кинотеатром, где на фронтоне мужик и баба. Мужик протягивает охапку колосьев, баба в косынке держит корзину фруктов. Наоборот бы надо: корзина-то потяжелее будет, чем колосья.

Ещё чуть дальше и правей бывший (давно когда-то) парк культуры и отдыха, а в последний десяток лет – буйно и густо заросший пустырь. Дальше, правей, спортивная школа, еще правей музыкальная школа, ещё вправо, за вторым микрорайоном – вокзал.

Цыган говорил, что детки эти явились из пионерлагеря... Ну да, есть такой, километров сорок на запад, за Сосновкой. Он, конечно, не пионерский давно, а какой-то там лагерь отдыха и развития молодёжи, но в городе его всегда называли по старинке. Ленка писала, что собиралась отправить в него Вадьку на лето, – сбуть пацана с рук, отдохнуть от него немного, – но денег, мол, может не хватить. Хоть бы не хватило! Ведь если Вадька был в лагере, то... Не дай бог!

Вон, уже видно за пятиэтажками зелёное приземистое здание вокзала с белой крышей. С флюгером. Видно мост, ведущий через пути в Ленинский район...

Подожди, какой флюгер-то? На вокзале сроду не было никакого флюгера.

Пастырь остановился, принялся всматриваться в далёкую крышу, до рези в глазах, до слезы. Быстро смахнул слезу, снова уставился на крышу. Флюгер исчез. Нет, он просто уменьшился... На крыше – человек, ясно же. И если Пастырь видит его отсюда, то и он с крыши отлично видит Пастыря, если смотрит сейчас в эту сторону.

Он сбросил с плеча рюкзак, растянул постромки, достал бинокль, упрятанный в самодельный брезентовый кожух. Бинокль был не ахти, но и расстояние до вокзала не велико, так что Пастырь очень даже неплохо мог рассмотреть присевшего на вентиляционную трубу юнца. Пацан лет шестнадцати (где тут разглядишь, но точно не взрослый мужик) в джинсах и просторной мешковатой куртке смотрел на город в оптический прицел винтаря. Смотрел он на северную сторону, так что Пастыря видеть пока не мог.

– Ничего так пионер! – присвистнул Пастырь, опускаясь взглядом по зданию ниже, но там не видать было ничего за крышами пятиэтажек. – Весело, весело... – добавил он, убирая бинокль от глаз, вешая на шею – теперь он постоянно должен быть под рукой.

Неизвестно, конечно, что за винтовка была у пионера, но Пастырь чувствовал себя сейчас весьма неуютно – на дороге, посреди поля, открытого всем ветрам. До переезда, до первых домов Репейной, с которой начинался в этой стороне город, ещё минут двадцать самым быстрым шагом. Сомнительно, конечно, что пацан на крыше вокзала может быть настоящим хорошим снайпером с настоящей снайперской винтовкой, но чем чёрт не шутит. Станет он стрелять не станет, попадёт, не попадёт, а лучше убраться от греха.

– Серьёзно у вас тут всё, ребята, – пробормотал он себе под нос, прибавляя шагу, невольно сутулясь в желании срастись, слиться с землёй, стать маленьким и незаметным.

«Аист на крыше, аист на крыше, мир на земле» – тихонько напевал он, медленно переходя на торопливую трусцу.

## 5. Ну, здравствуй, дом!

Репейная, всегда кое-как, наспех заасфальтированная, всегда изрядно разбитая, уже заметно поросла травой, как и идущий по сторонам узенький тротуар. Разлившаяся над улицей прохладно-серая тишина, упавшая с хмурого неба, воспринималась теперь, в городе, совсем не так, как в поле. В этой безжизненной глухой тишине было что-то мрачное и жуткое, и не спасало пение птиц, которые, наверное, давно уже чувствовали себя в городе так же, как и в роще. В выбоинах асфальта стояли на удивление чистые лужи – ни тебе радужной маслянистой плёнки, ни грязи, то и дело поднимаемой со дна колёсами.

Первый же встреченный магазинчик – так себе, забегаловка – оказался раздолбанным и разграбленным, как и пивнушка десятью метрами далее. Окна выбиты, двери раскурочены, внутри – пустота и хаос. Стекла в окнах первых этажей домов тоже по большей части выбиты, и их запылённые брызги, рассыпанные по асфальту, уныло отражают в себе тяжелое небо.

Пока он дошёл до Лермонтова, ему попались семь трупов различной степени разложения. Это, видать, уже из последних, которых уже некому было убирать. Пастырь обходил их по широкой дуге; теперь на лице его топорщился уродливым намордником тёмно-зеленый респиратор, а к быстро вспотевшим рукам прилипли резиновые перчатки.

Лермонтова имела более цивилизованный вид – это, поди ж ты, уже не задворки, это уже почти центр, хе-хе. До Маркса, на которой он жил, три остановки, двадцать минут хорошим шагом, но хорошего шага сейчас не разовьёшь – боязно. Бояться было нечего, это Пастырь понимал, он был в этом почти уверен, но вид мёртвого города, его пустынных, заросших бурьяном, улиц, его неживых домов с черными глазницами там и тут выбитых окон, его мёртвая тишина давили на психику, заставляли дышать настороженно и прерывисто, шнырять взглядом по сторонам, жаться к стенам и прислушиваться. Поди знай, мёртв ли он или ещё бьётся в агонии, как раненый зверь, который может и укусить. Как ни мало хотелось верить цыгану, который, наверное, в городе не появлялся уже давным давно, но предупреждение его сидело в голове и исподволь дёргало нервы.

Вывернув на Лермонтова, он не выдержал – достал обрез, потянул курки. Ну его к чёрту, вряд ли ему вдруг встретится добропорядочный гражданин, который не прочь будет поболтать о том, о сём, пока курится сигарета. Зато та фигура на крыше вокзала говорила о многом. Бережёного бог бережёт. Он всех бережёт, но бережёных – особенно жалует.

Утренний туман окончательно рассеялся, а солнце, которому всё чаще удавалось пробиться сквозь серый заслон облаков и всё дольше удержаться над городом, делало улицы поприветливей, придавало им почти живой вид, хотя и с паутиной готического нуара. Так что унылое «Аист на крыше», засевшее в мозгах заевшей пластинкой, сменилось вдруг игривым «У любви, как у пташки, крылья».

Путь до Маркса занял ровно вдвое больше времени, чем требовалось бы – сорок минут. Пастырь обошёл поваленный киоск «Роспечать» и замер под мёртвым светофором на перекрёстке с Сеченова. Впереди скалился разбитыми витринами с детства знакомый гастроном №27. Неровная надпись белой краской на его кирпичной стене, между двух витрин, лаконично извещала: «СУКИ!!!», а в следующем проёме, в не менее лаконичной абстракционистской манере, был изображён непомерно раздутый член с двумя огромными яйцами, больше похожими на коконы каких-нибудь гусениц-инопланетян. Стена дома напротив магазина исчерчена пунктирными волнистыми линиями – следы от беспорядочных автоматных очередей. На тротуаре под этими линиями валялись два обезображенных, истерзанных временем и, прежде, собаками, трупа.

Пастырь прошёл с полсотни метров и свернул во дворы, на узенькую асфальтовую дорожку, идущую среди древних тополей, почти невидимую сейчас из-под травы, проросшей

во всех трещинах. Тысячи раз он ходил по этой тропинке: в школу и из школы, в магазин, в шаражку и из шаражки, в кино, на работу... Потом по этой же дорожке ходила Ленка. Потом и Вадька делал по ней свои первые шаги. Всё кончилось. Внезапно, быстро, жёстко. Ну и на кой хрен всё было, скажите вы мне, а?

Завыть бы сейчас в голос! Сесть на этой дорожке, в траве, и завыть, задрав морду в респираторе к небу, матеря небо, бога, судьбу, грёбаное правительство, весь этот долбаный мир, решивший вдруг ни с того ни с сего сдохнуть.

Его дом был мёртв. Тоже. Видно же.

А чего ты ждал? Или ты думал, что Ленка сидит у окна и высматривает, когда же придёт её муженёк, вернувшийся с отсидки? Ещё войдя на Репейную ты уже понял, что город мёртв, что никого ты тут не найдёшь – уж своих-то точно не найдёшь.

С замирающим сердцем он через распахнутую дверь вошёл в подъезд. На первом этаже все двери выбиты, пустота и смрад. Поднялся на третий, встал у до боли знакомой двери с цифрой 9.

Ну здравствуй, дом!

А ключа-то и нет. Ключ то в зоне остался, в личных вещах. Вот так. И что теперь? Будешь ломать дверь в собственную квартиру? Будешь будить мёртвую тишину мёртвого города?

Ну и ладно.

Не дыша, он поднял руку, вдавил кнопку звонка, прислушиваясь, готовый вздрогнуть.

Идиот! К чему ты прислушиваешься? Электрификация всей страны давно отменена. Ну или не всей, но города Михайловска – точно.

Осторожно коснулся пыльной ручки, нажал.

Если бы дверь просто взяла и открылась в пустую квартиру, он бы, наверное, сошёл с ума от безнадёги. Ведь это значило бы, что его жилище мертво, никому не нужно, брошено без всякой надежды когда-нибудь в него вернуться, без расчёта на него, Пастыря – на то, что он обязательно сюда придёт. Но нет. Слава богу, дверь была закрыта. А значит, они – Ленка и Вадька – просто ушли, уехали, сбежали. Да, пусть сбежали, но они знали, верили хотя бы, что обязательно вернуться сюда, они думали о Пастыре, они помнили, что это – их дом, что он будет их ждать и обязательно дождётся.

Без всякой надежды он постучал в дверь костяшками пальцев. Этот одинокий звук разнёсся по подъезду гулко, резко и неуместно живо. Как неуместно звучала бы лезгинка в склепе.

Несколько минут стоял, словно прислушиваясь и ожидая, что сейчас щёлкнет замок, дверь приоткроется, с удивлённым ожиданием выглянет Ленка и завизжит, бросится ему на шею, беспорядочно целуя, плача...

Да нет, не прислушивался он. Просто размышлял, как будет попадать внутрь. Дверь ломать не хотелось. Сломать дверь – это тоже значило предать. Предать свой дом, признать своё поражение, согласиться с тем, что никто и никогда в него не вернётся. Нет, ничего он ломать не станет.

– Эй, парень!

А он и не слышал, не услышал, когда и как они подкралась!..

## 6. Боль

Не они – он. Мужик лет тридцати с пятаком, в синих трениках, в жёлтой футболке, в домашних тапочках, с обрезком трубы в руке стоял в пролёте между третьим и четвёртым этажами. Когда Пастырь резко повернулся на голос, поднимая обрез, мужик отступил чуть, поднял руки, развёл их в стороны. Но, кажется, не особо испугался, смотрел на Пастыря спокойно.

– Тише, тише, – произнёс он. – Николай, вроде?

– Пастырь, – прохрипел Пастырь севшим от неожиданности и долгого молчания голосом, удерживая живот мужика под прицелом. – Пётр, то есть.

– Извини. Мы с тобой почти и не пересекались. Я на пятом живу, ага.

Да, лицо мужика было смутно знакомо.

– Угу, – кивнул Пастырь. – Руки можешь опустить.

Но сам не торопился отводить ствол. Чёрт его знает, что у мужика на уме.

– Это *моя* тебя узнала, – объяснил тот, опустив руки, перехватив трубу с края за серёдку, сняв её таким образом с «боевого взвода». – Это, говорит, с третьего этажа дядька, Ленкин муж, из девятой, ага. Бабы-то они лучше друг друга знают, чем мы. Глаз-то у них цепче – любопытные же, ага.

Пастырь убрал обрез, сунул его в петлю на ветровке, сдёрнул респиратор, чтобы не мешал разговаривать.

– Что с моими, знаешь? – спросил он.

– Моя говорит, ты на зоне, вроде, куковал, – уклонился мужик от ответа. – Точно, ага?

Сердце Пастыря сразу почуяло недоброе. Если бы было чем обрадовать, уже обрадовал бы сосед: да всё, дескать, нормалёк с твоими было, когда уезжали.

– Мои живы? – спросил он, обмирая в ожидании ответа.

– Пойдёмте к нам, – послышался женский голос с пятого этажа. – Чего в подъезде-то стоять. Опасно же. Олеж, веди человека сюда.

– Ага, – кивнул Олег. – Это Надька моя. Пойдём. Ты не бойсь, Петро, мы здоровые. А здесь разговоры разговаривать не место так-то, ага.

Скрипя-поскрипывая сердцем и холодея душой, готовя себя понемногу к плохим известиям, Пастырь поднимался вслед за мужиком вверх по гулкой лестнице.

– Я тебя давно заметил, – говорил Олег. – Делать-то нечего целыми днями, так я дырку в шторе проделал и секу пердически, ага. Я прям охренел, как тебя увидел. За последние пару месяцев первый живой человек, смотрю, ага. Да так, смотрю, отчаянно идёт, не скрываясь, ага. Я аж прям офигел. А моя как глянула, сразу тебя признала.

– Да, – улыбнулась им навстречу Олегава жена, стоящая на площадке перед открытой дверью, в стареньком коротком халатике, сама коротенькая и пухленькая, несмотря на очевидно не сытую жизнь.

А может, и не такую уж не сытую. В тесной прихожей хрущёвки, в которую Пастырь вошёл вслед за хозяином, стояли штабелями коробки, явно из продуктового магазина. Коробками же была загромождена и гостиная. В квартире повис прокисший запах давно немытого и не проветриваемого помещения, немых тел, клозета и табачного перегара.

– Неплохо вы затарились, – кивнул Пастырь, обозревая ящики с водкой, бутылки растительного масла, бутылки воды, мешок с сахаром и коробки китайской лапши в ближнем углу. Уставлена комната была так плотно, что оставался только небольшой пяточок в центре, где, похоже, супруги и спали, из чего можно было сделать вывод, что спальня вообще превращена в продовольственный склад.

Видать, когда начался бардак, когда начали крушить магазины да склады, Олежка не растерялся, тоже приложил руку. Ну и правильно: выживать как-то надо, и тут уж каждый сам за себя, и никто о тебе не позаботится. А может, рассчитывал приторговывать потихоньку, коли масть пойдёт.

– Жрать-то надо что-то, – буркнул Олег.

– А как без воды и света?

– Керосином спасаемся пока, – вступила Надежда. – Да спиртом сухим. Но лампу мы редко жжём – страшно. Вода – да, заканчивается. А зимой что делать будем, без тепла-то, и вообще не знаю.

– Зато воды будет завалом, – сварливо проворчал мужик, – нагребай. Только ты доживи сначала до зимы. – И Пастырю: – Говорил я ей, сматываться надо отсюда, ещё когда первая волна только пошла говорил. Так нет: родители, родители, – гнусаво передразнил он жену. – Ну и где теперь твои родители?

С заблестевшими от слёз глазами она принялась собирать на стол в тесной кухне, куда провели гостя, раскочегарила примус.

– Может, наладится ещё всё к зиме, – произнесла с надеждой.

– С моими что стало, не знаете? – нетерпеливо спросил Пастырь

Супруги переглянулись, женщина опустила глаза, вздохнула...

В мае Елена отправила Вадика в лагерь. Многие так сделали, чтобы спровадить детей из города, в котором набирала обороты «краснуха» и который собирались закрыть на карантин. Принимали туда бесплатно, со всей области, обещали, что дети будут в полной изоляции от внешнего мира, под присмотром бригады врачей. Олег с Надеждой тоже отправили своего сына в тот лагерь, о чём теперь жалели. Неизвестно, что стало с детьми. Сначала, пока мобильная связь работала, дети хоть звонили, рассказывали, что да как. Весёлые, вроде, были, никто из них не заболел. Там и правда целая бригада, говорят, работала, осматривали их каждый день, таблетками какими-то пичкали для профилактики. А в городе между тем всё хуже и хуже становилось, всё страшней было жить. Начались погромы, паника. Немногочисленная милиция сделать ничего не могла, а потом ещё явились какие-то бандиты и объявили, что раз менты, дескать, порядок навести не могут, то они берут власть в свои руки. Тут уж вообще началось такое...

Виталий Георгиевич предлагал Елене уехать в Польшаево, к его родителям, но она...

А?.. Кто такой Виталий Георгиевич, говорите?..

– Ой... – Надежда зажала рот рукой, испуганно сморщилась, глядя на мужа, который молча повертел пальцем у виска.

Пастырь несколько минут смотрел на супругов, переводя тяжёлый взгляд с одной на другого. Потом кивнул, поиграл желваками.

– Ну и? Она поехала?

– Не поехала, – выдохнула Надежда.

– Ты, Петро, только не думай... – вмешался было Олег, но Пастырь не дал ему договорить:

– Но она жива?

Бандиты лютовали. Оставшуюся милицию перебили быстро, даже на квартиры к ментам приходили убивать. Убивали безжалостно всех, кто выглядел нездоровым, кто попался под руку на улице, кто – не дай бог – выказывал недовольство. Бешеные они были, псы бешеные, рвали всех подряд – и чужих рвали и своих. От страха, наверное, от предчувствия скорой смерти. Стали ходить по квартирам, выискивать награбленное из магазинов, да и просто искать людей побогаче. Убивали и грабили почём зря, целыми семьями вырезали, целыми улицами. И никто ничего не делал – ни тебе милиции, ни армии, как будто так и надо. Администрация городская попряталась, мэра убили в числе первых.

Потом бандиты исчезли из города. Говорят, целой колонной «Камазов» уезжали – столько добра нахватили себе.

– Что с Леной стало? – не выдержал Пастырь ходьбы вокруг да около.

– Умерла она, – отозвался Олег. – В июне и умерла, едва эти охламоны из города свалили, ага. А этот... козёл!.. Перевалов этот...

– Её на Космодемьянской видели, – перебила Надежда. – Вера Максимовна, из одиннадцатой. Вы ж её знаете, наверно. Помните Веру Максимовну? Медсестрой работала. Соседка ваша была. Тоже умерла, в июне. А *этот* – уехал. Ещё когда бандиты явились. Лену бросил и уехал.

Пастырь не ответил. Он сидел бледный, уставясь в одну точку на столе, где на коричневой изрезанной клеёнке затерялся одинокий бледный червячок китайской лапши.

– Это... – оживился Олег. – Я сейчас, ага...

Он убежал в гостиную, вернулся с двумя бутылками водки, налил по полстакана.

– Помянем, – выдохнул, поднимая. – Всех, ага.

А в начале июля вообще жуть началась, – продолжала Надежда, морщась после водки, накладывая в тарелки лапшу. Явились «пионеры». Говорят, они из того лагеря, из Сосновки, и даже, вроде, Михайловских среди них кто-то видел. Врут, наверное, потому что как тут увидишь, если они сразу окопались на вокзале и близко никого к себе не подпускали. Загребли себе водоканал, где воды в цистернах вымершему городу на год хватило бы. Весь город обшмонали, но после бандитов найти что-нибудь было уже нереально. Вы не думайте, что они дети – не дети они. Звери лютые, ещё хуже бандитов. Те хоть ради поживы убивали, а эти – так просто: от страха ли, от ненависти ли.

– Фашисты они, – вставил Олег. – Я их видел один раз, на Глинки. Они там целой шоблой проходили, строем. Ходят строем, ага, с черными повязками, а на руках наколки типа свастик. Вооружены неплохо так-то, ага.

При них не дай бог на улице оказаться – стреляют сразу, не разговаривая. Люди рассказывали, что ходила к ним делегация, просить, чтобы за водой пускали... Никто не вернулся.

– Много народу в городе? – глухо спросил Пастырь.

– Да кто его знает, – пожал плечами Олег, наливая ещё по одной. – Народ есть, это точно, ага. Болезнь, вроде, поутихла, не знаю. А может, просто не видно уже умирающих – по улицам нынче так-то не ходит никто. И без воды ещё мрут. Кто отчаянный, те бегают с ведрами-бидонами на Чуню, да только много ли набегает, когда то и смотри, чтобы на глаза *этим* не попасть, ага. Тоже не знаю, что делать будем – литров триста осталось водицы. Думаю, в Благонравное перебраться надо до холодов – там печи, колодцы.

Выпили.

В сердце Пастыря засел клин – острый, ржавый, металлический клин, холодный и тяжёлый. И сердце болело, на самом деле болело – давило и отдавалось шилом куда-то в спину. И от водки легче не становилось. Это надо было пару бутылок выпить ему, чтобы уж вырваться совсем и ничего не чувствовать.

– Я выхожу иногда, – продолжал Олег, вскрывая новую банку тушенки. – Вижу мужика одного с завода, с которым работал, ага. Тут рядом, на Смирнова, в подвале целый табор организовался – четыре семьи. Плохо, говорят, совсем стало без воды-то, ага, так тоже в Благонравное думают перебраться.

– Выкурить пионеров не пробовали? – тяжёлый взгляд Пастыря упёрся в Олеговы прозрачные глаза.

– Кто? – опешил тот.

– Вы. Оружие-то, поди, есть у мужиков? Неужели не осталось ничего после ментов да бандитов? А «Охотник» магазин?

– Да есть стволы так-то, – пожал плечами хозяин. – Стрелял кто-то в этих пионеров пару раз. Только куда тут попрёшь, с берданками да «макарами» против этой шоблы. Их там человек шестьдесят, не меньше, ага. Автоматы, винтовки. У них даже гранаты есть – слышно было пару раз как взрывали что-то. Крутые ребята, не смотри, что малолетки. А тут пойдешь попробуй собери кого – одни трупы да умирающие, да боятся все друг друга: вдруг ты заразный, ага.

– Же-енька-а! – пьяно сквасилась и заскулила Надежда. – Женечка наш... А вдруг... Как же можно-то... стрелять-то... Сыно-о-оче-е-ек!..

– А ты издалека пришёл? – поинтересовался у Пастыря Олег.

– Угу, – кивнул тот, пытаясь собрать глаза в кучку. После двух стаканов водки отвыкший от этого поила и голодный организм раскис совсем. И только в сердце больно давил тяжёлый ржавый клин. – Это ж откуда у них столько оружия?

– У пионеров-то?.. Да кто их знает. Там же, возле лагеря, охрана стояла – менты и солдаты из части, что в Ледащеве, ага.

– И никто не пробовал добраться до Сосновки?

– Ездили, – пьяно мотнул головой Олег, разливая остатки, открывая новую бутылку. – Я, Степаныч и Костик ездили, ага.

– И что там?

– Мрак, – отозвался тот, опростав свой стакан. – Трупы. Одни трупы кругом. Менты, дети, солдаты, обслуга... И это, слышь... С пулевыми почти все, ага. Красных мало совсем, и они в одном месте сложены. А те, что по территории лежат – с пулевыми, ножевыми, с головами разбитыми.

– Же-е-е-ня! – взвыла женщина. – Сы-ы-ына-а-а!

– Да заткнись ты! – шикнул на неё муж. – Орёшь на весь город! Нам только пионеров тут в гости не хватало, ага.

– А... это... – напрягся Пастырь. – Вадьку моего...

– Не видал, – покачал головой Олег. – Да и пойми: мы ж каждый своих высматривали, ага. Их там с полсотни по лагерю разбросано было... Не знаю... А где красные лежали, так туда идти... сам понимаешь так-то... Мы туда мотались недели через две после того, как пионеры явились, ага. Узнать было трудно уже кого-нибудь... Петрович свою Маринку только по одежде и определил, ага... А я нашего так и не нашёл...

– А здесь Вадьку не видать было?

– Не-а, – Олег сочувственно нахмурился. – В подъезде никого живых нет. Да во всём доме, наверняка, никого, кроме нас, ага. Я это... цементом посыпаю внизу, в подъезде, на всякий случай. Ни разу ничьёго следа не видал.

Пастырь в раздумье посмотрел на зажатый в кулаке стакан, в котором смердяче плескалась водка. Пить больше не стоило. Да и не хотелось. Таблетку бы какую от сердца...

Кто такой этот Виталий Георгиевич, он не знал да и знать не хотел. Это было теперь уже неважно совсем. Ленки нет, а значит, все грехи её искуплены, если были грехи. Теперь нужно было думать про Вадьку. А вариантов, значит, всего два остаётся: либо он там, в лагере, среди... Либо тут, на вокзале.

Вадьку Пастырь знал хорошо: Вадька был тих, не отчаян, с ленцой и подростковым безразличием ко всему, кроме своих каких-то, одному ему ведомых, интересов. Впрочем, это было три года назад, когда пацану было двенадцать. А они ведь быстро меняются в этом возрасте, каждый год так меняются, что и не узнаешь; так что каким стал его сын за эти три года, Пастырь мог только предполагать. Ленка многого не писала, конечно, но по интонации, с какой она говорила о сыне, было видно, что намучилась она с ним уже по самое не могу.

Эх, Ленка, Ленка... Чего тебе надо было? Ведь хорошо жили – ну не хуже, чем другие живут. Мужика, что ли, не хватило, ласки мужицкой? Или дурость бабья в голову ударила, когда этот хрен с горы подъехал с красивыми словами? Или... плюнуть решила на своего законного мужа, поставить крест?.. Ох, бабы...

– Ты, поди, многое повидал, – пьяно прогундел Олег. – Что там творится расскажи, а? Как там наша... Рассея... великая наша держава, ёптыть? Совсем подохла или ещё трепыхается?

Пастырь с внезапным омерзением посмотрел в осоловелые прозрачные глазёнки. Хотел врезать, но передумал. Человека просто отчаяние жрёт и обида – на судьбу, на жизнь, на людей, на сраное правительство, на бездарных горе-врачей, накупивших себе дипломов, на ментов, которые ни на что не способны... А через водку всё и прёт наружу, что было свалено в душу и камнем придавлено.

– Ой-ой, как он глянул!.. Слышь, Надьк... Он меня прям убил взглядом, ага... – принялся паясничать хозяин. – Ты, Петро, не надо так смотреть, ага... Мне твоё презрение... Я ж и перее\*\*\* могу, извини конечно, ага... Ты, может, заслуженный зэк там и всё такое... Но я, Петро, знаешь, мужик простой так-то... Я, бля, без аха и упрёка возьму и перее\*\*\*, ага...

Испуганная пьяненькая Надежда треснула мужа кулачком по затылку, схватила за волосы, принялась зажимать ему ладонью рот, притягивая его голову к своей груди:

– Чего мелешь-то, ты!.. – запыхтела она. – Куда тебя понесло-то, олух царя небесного...

– И Пастырью: – Вы не слушайте его, Пёт Сергеич... Он дурак, когда примет.

– Сама дура! – пробубнил Олег в её ладонь. – Уйди нах-х!

Пастырь принялся рассказывать. Скорее себе рассказывал, чем этим двоим. Рассказывал о той девчонке, в Симферополе, которую забросали камнями вместе с годовалым сыном, думая, что у них горячка – забили насмерть, как ни увещевала женщина, как ни умоляла, говоря, что у ребенка банальный диатез, как ни закрывала его собой до последнего. Рассказывал о сошедшем с ума менте в Новосибирском аэропорту: когда его попытались изолировать, он положил всю бригаду скорой помощи и половину рейса. О целых колоннах автомашин, покидавших города и о том, как останавливались, вдруг, многие из них прямо на дороге и уже не двигались, и тогда приходилось ждать, пока подъедет бульдозер или танк и столкнёт мёртвую машину в кювет, расчищая затор. Рассказывал о том, что жизнь человеческая нынче не стоит ничего – ноль рублей и ноль копеек её цена; о повальной всеобщей панике и о том, как из последних жил, внадрыв, пытаются люди выжить.

Олег болтал головой, клевал носом, матерился. Его жена утирала с мутных осоловевших глазок пьяные слёзы и причитала, оплакивая своё будущее.

Потом Пастырь махнул рукой, поднялся. Обрывая их уговоры остаться до завтра, неуверенной походкой пошёл в туалет.

Унитаз не было. Вернее он был, но стоял в стороне. А на его месте была проломлена в полу дыра в брошенную квартиру четвёртого этажа, прикрытая распластанным картонным ящиком из-под лапши «Доширак», чтобы снизу не тянуло смрадом. Хорошо устроились. Воды-то нет же. Это ж благо, что квартира их расположена по другому стояку, не над Пастыревой.

– В шестнадцатой хозяйка померла давно, – промычал Олег, отводя пьяные глаза под взглядом Пастыря.

Пастырь нужду справлять не стал, покачал головой, вышел.

## 7. Пёс и манекены

Слегка пошатываясь, спустился на третий этаж. Постоял несколько минут, прижавшись лбом к двери с номером девять, вдыхая мёртвенную и пыльную вонь подъезда. Потом потянул носом через замочную скважину, надеясь учуять родной запах своего жилища – не учуял ничего. На всякий случай, прижимая губы к замку, позвал: «Вадька! Ты дома?» Несколько минут ждал ответа.

А что, если сын правда дома? Лежит там, умирая от голода и жажды... Или от горячки...

Нет. Пастырь помотал головой. Нет. Пыль на ручке копилась давно, уж никак не меньше прошедших двух месяцев – сейчас на ней только его пальцы и видно было.

На всякий случай позвал сына ещё раз, втянул ноздрями воздух из квартиры через замочную скважину. Задумался: не сломать ли всё же дверь?..

Нет.

Достал из кармашка рюкзака огрызок карандаша и блокнот, вырвал лист. Долго пытался вспомнить, какое сегодня число, но так и не вспомнил. Написал:

Вадька! Жизнь продолжается. Не вешай носа и не паникуй. В квартире №20 живут супруги – Олег и Надежда. Если они еще не ушли, постарайся по началу держаться их. С ними или без них уходи в Благодравное, в городе ты не выживешь, тем более – один. Если идти от Благодравного в сторону Карасёвки, то за развилкой, на малой дороге найдёшь зелёный вагончик. Там живёт Михай, цыган – мужик хороший, надёжный, наверняка тебе поможет, чем сможет. Скажешь, что сын Варнака, не забудь. Будь осторожен, никаких контактов с «красными», ближе двадцати метров не подпускай ни за что. Думай головой, очень тебя прошу! Не верь никому, кроме Михая, если повезёт с ним встретиться. Борись, Вадька, не сдавайся. Живи!

Удачи тебе, сын! Прощай. Любящий тебя, отец.

Поставил подпись, сложил бумажку, скрутил в тонкую трубочку и засунул в зазор под верхним наличником.

Спустился на первый этаж, посмотрел на свои следы на тонком слое белого цемента, которым припылены первые ступени. Вышел на улицу, огляделся по сторонам и, отойдя к кустам, отлил.

Был первый час дня. Солнце шпарило совсем не по-октябрьски. Луи после ночной грозы стремительно высыхали, оставаясь только в тени дворов – чистые, прозрачные, не замутнённые следами жизнедеятельности Хомы Сапиенса лужи. От асфальта веяло парилкой, от стен домов – смертью. Вспомнилась «Мёртвый город, рождество», одна из любимых, и он принался напевать её себе под нос, выбирая путь следования.

Собственно, путь-то у него был, кажется, один: вокзал. Мычание из репертуара «ДДТ» сменилось классикой: «Взвейтесь кострами».

Но сначала ему надо сходить на Космодемьянской. Низачем – просто так. Нет, разумеется, не для того, чтобы найти там останки жены, которые, вероятно, так и лежат на том месте, где встретила она свою смертушку.

Он помотал головой, пытаясь вытрясти из неё остатки хмеля. Подошёл к ближайшей луже и долго плескал в лицо тепловатую воду, без удовольствия фыркая и отплёвываясь. Потом постоял, глядя на свой дом, помахал рукой пятому этажу, несколько не сомневаясь, что через дырку в шторе за ним сейчас наблюдают. Потом забросил за спину рюкзак, который отяжелелся тремя банками тушёнки, бутылкой водки и несколькими коробками лапши, натянул респиратор и перчатки, достал из петли обрез и двинулся на северо-восток, к универмагу, за которым начиналась узкая и короткая – в десяток домов – улица Зои Космодемьянской. Чего Ленке было нужно на этой улице, одному богу ведомо. Может, там жил её хахаль? Да нет конечно: не пошла бы она, заведомо уже больная, к нему. И, насколько Пастырь знал свою жену, она ушла бы из дому при первых же симптомах болезни – пошла бы помирать куда угодно, только подальше от дома, чтобы не сеять в нём заразу. А что делала на Космодемьянской соседка из одиннадцатой квартиры? Эта, как её... Вера Максимовна?

Ему отчётливо представился весь ужас, который должна была испытать жена в последние часы жизни. Одна во всём городе, приговорённая к смерти, без права умереть по-человечески у себя дома, без надежды увидеть напоследок родное лицо, каждую минуту ожидая брошенного в голову камня или выстрела в спину. Увидел, как сгорая от температуры в сорок один, дыша огнём, красная и уже плохо соображающая бредёт она, шатаясь, по пустынным улицам умирающего города, без цели, или, может быть, желая побыстрее найти смерть – нарваться на кого-нибудь, кто не откажется стеснительным выстрелом прекратить её мучения.

Ленка, Ленка...

На Гоголя показалось ему на миг, что кто-то мелькнул за углом бара «Корвет». Но, наверное, только показалось. Кто и с какой целью станет ходить по мёртвым беззвучным ули-

цам обездушенного города? Если только кто-нибудь вышел за водой... Увидел, наверное, обрез и решил уклониться от встречи. Ну и ладно, Пастырь тоже не очень-то желает встреч. Ему нужна только одна встреча. Дай-то бог, чтобы Вадька оказался в числе этих... пионеров. Хотя трудно представить его в подобной компании.

«Ты опять забываешь, что ему давно не двенадцать! – одёрнул Пастырь себя. – И потом, он мог попасть в эту компанию против воли... Чёрт же его знает, что за кодла сидит на вокзале и что у них там за порядки».

Уже незадолго до поворота на Фурманова, к универмагу, Пастырь отчётливо почувствовал чей-то прилипший к спине взгляд. Резко обернулся... Никого.

Быстро пересёк улицу, повернул за угол и остановился, присел на корточки, прижавшись спиной к тёплой и шершавой стене дома, взяв на изготовку обрез.

Ему пришлось сидеть так минут пять. Шагов он так и не услышал, успел только вздрогнуть, когда из-за угла вывернула собака. Большая грязная псина, облезлый и исхудалый кобель-среднеевропеец вывернул из-за угла, идя, наверное, по следу, и тут же отпрянул, замер, втягивая носом Пастырев запах, недобро глядя.

– Тебя почему ещё не съели, шашлык? – спросил Пастырь.

Пёс не ответил, но настороженно опустил голову, недвусмысленно приподнял верхнюю губу, показывая клыки. Однако в глазах злобы не было, скорее – равнодушное ожидание чего-то.

– Так ты, типа, охотишься на меня, что ли? – продолжал Пастырь, догадываясь о намерениях пса. – Ну, это ты зря, парень, я ведь и шамальнуть могу.

Он переложил обрез в левую руку, правой медленно и плавно достал из ножен штык-нож. Пёс зарычал на это движение хрипло, для острастки, но нападать, видимо, не решался пока.

– Ну, что? – поинтересовался Пастырь. – Биться будем или разойдёмся при своих?

Держа нож на взводе, прикрывая им горло, медленно поднялся, давая псине возможность оценить свой размер и почувствовать силу человека. Поднявшись, выждал на раз-два и сделал шаг на сближение. Пёс снова зарычал хищно, но в конце дал петуха – его глухой рык перешёл в нерешительный взвизг. Зверюга, видать, имел опыт людоедства – давил и рвал, наверное, потихоньку, больных, которые уже плохо соображали и ещё хуже двигались. Но варнак совсем не выглядел слабым: в его движениях чувствовалась сила, а в запахе его не было ни страха, ни болезни.

– То-то и оно, – произнёс он, делая ещё один шаг в сторону собаки.

Пёс опустил губу, спрятал клыки, попятился, поджимая хвост, – смирился с тем, что на этот раз ему ничего не обломится.

– Вали, короче, отсюда, – посоветовал ему Пастырь. – Я вас, таких зверушек, знаешь сколько слопал... Я на вас собаку съел, если что.

Он широко махнул ножом. Пёс глухо зарычал, но отбежал шагов на десять, остановился, равнодушно поглядывая на человека. А Пастырь, не боясь, повернулся к нему спиной, сунул штык в ножны и потопал к универмагу.

«Пристрелить бы надо было, – подумал он. – Может, эта псина и Ленку...»

Старое, серое, трёхэтажное здание универмага, построенное ещё году в шестидесятом, встретило его оскалом выбитых дверей и безучастным взглядом пустых глазниц-окон, стёкла из которых были высажены начисто и пылились на тротуаре. Видно было раскуроченные прилавки, поваленные стойки для одежды, осколки стекла и фарфора, кучи наваленных на полу товаров, которые не понадобились никому: пластиковые тазы и вёдра, детские игрушки, мячи, зонты, недобитые зеркала и мебель. А у входных дверей шутники – то ли бандюки, то ли пионеры (хотя чем вторые отличаются от первых – это ещё вопрос) – повывастили манекены и не поленились, глумясь, выкрасить их красным и завернуть в некогда белые простыни. Одному

женскому манекену кое-как приделали между ног секс-шоповский фаллос с натянутым на него презервативом, пририсовали над верхней губой мюнхгаузеновские усы; а мужику водрузили на пластмассовую голову кудрявый женский парик.

– Ну-ну... – пробормотал Пастырь. – Петросяны, значит...

Он прошёл между манекенами, по выбитой и брошенной на пол массивной двери, внутрь, в тихий беспорядок магазина. Не меньше часа ходил по этажам, блуждал по отделам, хрустя битой посудой, перешагивая заваленные стойки, распиная мячи и кукол. Нет, всё самое ценное конечно же было вынесено задолго до него. Ни одежды, ни консервов, ни спичек, ни спинингов – ничего полезного в разбросанном по полу и оставленном на полках хламе. Нашёл, правда, пыльное байковое одеяло, вытряс, свернул потуже, уложил в рюкзак. Ночами было уже холодно, а скоро начнётся и настоящая осень. Долго вертел в руках блестящий аккуратный топорик для разделки мяса, с обрезиненной ручкой, чуть изогнутый. В конце концов сунул в одну из петель, нашитых на ремень – хорошая вещь, хоть и не из лёгких.

Когда вышел из универмага, увидел пса, сидящего на противоположном углу магазина. Псина демонстративно не смотрела в его сторону. Пастырь усмехнулся, помотал головой, пошёл по Фурманова в сторону Космодемьянской. Через пару минут оглянулся. Кобель поднялся и сделал пару шагов за человеком. Теперь стоял, выпластав язык, и голодно жмурился вслед.

## 8. Увольнение

С Космодемьянской хорошо было видно вокзал, поэтому приходилось жаться к правой стороне, к домам, чтобы не попасть в прицел «аиста», по-прежнему торчащего на крыше. На этой далеко не самой популярной улице трупов действительно было почему-то много. Почему – Пастырь понял только когда дошёл до больницы. Городская инфекционная больница №2 двумя своими старомодными корпусами притихла на фоне небольшого уютного парка, принявшего сейчас вид совершенно дикий из-за своей многомесячной неухоженности. На пике эпидемии лечебное заведение приняло на себя, наверное, не один удар разъярённой толпы, потому что во многих окнах на замену стёклам пришли одеяла и матрацы. Большое полукруглое крыльцо тоже было превращено в баррикаду – его украшали мешки с песком, металлические кушетки и столы, поставленные на попа. Всё это усыпано множеством камней и арматуры, бросаемых, наверное, в защитников, а колонны, подпирающие лепной навес над входом, испещрены сколами и выбоинами. Больницу, видать, штурмовали. Вокруг было особенно много полуистлевших трупов; лёгкий ветерок разносил во все стороны тяжёлый запах тухлятины, одевал мертвецов в жёлтые и оранжевые саваны палой листвы. Там и тут попадались обездушенные мёртвые гильзы самых разных форм и калибров.

Часовня, стоящая в конце аллеи, с левого бока главного корпуса больницы, зияла провалом выломанной двери. Вокруг тоже несколько трупов тех, кто пришёл, наверное, сюда в последней надежде найти у бога защиту от смертельного недуга. Но бог, он ведь последователен – с чего же он станет избавлять от болезни, которую сам же и позволил (как минимум). У входа скрючился полусгнивший труп в полицейской форме. Пастырь сразу наострил взгляд в надежде найти рядом что-нибудь похожее на оружие, но, ясное дело, до него тут побывал уже не один жаждающий заполнить себе «макара» или «калаша».

Умиравшие люди невольно, по привычке, тянулись в последней надежде к больнице. Затуманенное горячкой сознание, утратив способность адекватно и критично воспринимать действительность, ослепляло надеждой, следовало за привычными рефлексамы прежней жизни. Но спасения не было. И люди умирали здесь. Они были повсюду: на скамейках, выстроившихся вдоль аллеи; сидели, свесив голову, под деревом или прислонившись к стене

больницы; на мраморной плите под памятником Сеченову; лежали на траве, скрючившись как огромные полуистлевшие зародыши или сбитые влёт птицы.

Где-то здесь, наверное, лежала и Ленка.

Пастырь поплотнее приладил к лицу респиратор, подтянул ляжки вещмешка, и вошёл в гулкий, притихший и протухший больничный холл. Медикаменты ему тоже были нужны; на дне рюкзака валялся только последний недоеденный стандарт «Цитрамона», а на первом этаже больницы, сколько он помнил, всегда был аптечный киоск. Вот-вот начнётся осенняя слякоть, дальше – зима; и от простуд будет не уйти.

По выкрашенному в мерзкий тёмно-зеленый цвет облезлому коридору он прошёл до маленького фойе, где расположился буфет, аптечный киоск и притон «Роспечати». Здесь тоже всё оказалось разбитым: валялись на полу вперемешку истоптанные старые газеты и журналы, коробки презервативов, бутылки шампуней, таблетки, склянки, одноразовые тарелки и стаканчики из буфета, битое стекло. Пастырь зашёл в киоск, порылся в выдвижных шкафчиках, набросал в рюкзак всё что смог найти полезного: «Но-Шпа», «Аспирин», «Антигриппин», бинты, мази, вату, йод. Даже резиновый жгут положил на всякий случай, в предвидении визита на вокзал.

Рюкзак располнел за сегодня, потяжелел, стал надёжней. Тащиться с ним на вокзал, наверное, не стоило, лучше было бы схоронить его до поры в надёжном месте.

Без всякой надежды заглянул в буфет, порылся по столам и полкам: ничего, кроме нескольких бутылок газировки и банок пива. Почувствовав набежавшую слюну, распечатал здесь же жестянку «Балтики», выхлебал залпом, довольно крякнул. Оставшиеся три банки уложил в рюкзак.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.